

# Зимой в Афганистане / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 24 января, 2025

Зимой в Афганистане / рассказ ЗИМОЙ В АФГАНИСТАНЕ

В длинной и высокой палатке горела керосиновая лампа, она стояла на тумбочке в дальнем углу, там старослужащие играли в карты. Лампа багрово освещала табуретку, на которую падали карты, освещала лица игроков, струйки сигаретного дыма, освещала солдата, застывшего в проходе между двухъярусными койками.

Посреди палатки взмывала круглая железная печка, несколько молодых солдат, сидя на табуретках вокруг нее, помахивали «дедовскими» портянками – тореодоры на деревянных конях. Впрочем, трудно представить тореодора, который согласился бы сушить чужие портянки...

Кто-то дремал, полулежа на койке, кто-то лениво переговаривался; двое солдат, примостившись вблизи игроков, подшивали к воротам хлопчатобумажных курток полоски белой материи. Толстый солдат, задрав ноги в сапогах на спинку койки и сунув руки под голову, лежал и, глядя в сетку верхней койки, пел песни. Все песни были на один мотив, он их пел равнодушным негромким голосом, – машинально пел, думая о чем-то.

В палатке было тепло, сыро и пахло соляжкой, табаком и грязной одеждой. Солдаты недавно поужинали и теперь, сытые и благодушные, дожидались вечерней поверки.

Толстый солдат пел: «Ни кола, ни двора, ни знакомой рожи. Водки нет, женщин нет, да и быть не может...».

Тореодоры неистово дразнили серыми вонючими тряпками печь, злобно покрасневшую с одного бока.

Кто-то уже храпел.

Карты щелкали по табуретке. Старослужащие играли в дурака, они курили, отпускали реплики и не обращали внимания на тощего солдата, стоявшего рядом.

– Кажется, я останусь, – сказал плечистый рыжий парень в расстегнутой куртке. У него была выпуклая волосатая грудь,

маленькая голова и длинные руки. Его звали Удмурт из Пномпеня. Он был русский из Удмуртии, и прежние «деды» прозвали его Удмуртом и почему-то из Пномпеня. Его и поныне за глаза так называли.

– А я на этот раз выкарабкаюсь, – с чувством сказал чернявый мелкий солдатик, белорус Санько, это фамилия у него такая была – Санько. Он бросил на табуретку козырную десятку.

– Ого, – сказал Остапенков. – Принял.

– А, ты принял, – пробормотал Удмурт из Пномпеня, – тогда живем? – И положил сразу две карты.

Сухопарый подвижный ушастый татарин Иванов впился своими круглыми ясными глазами в карты, покусал узкую губу острыми белыми зубками и побил эти две карты козырной шестеркой и червонной дамой.

Удмурт поглядел на глазастую даму с пышной прической и проговорил:

– Кого-то она напоминает.

– Валечку, – сказал Остапенков.

– У Валечки волосы темнее, – возразил Санько.

– Но глаза такие же, овечьи, – сказал Остапенков.

В дураках остался Иванов. Он собрал карты и начал ловко тасовать их своими цепкими сухими длинными пальцами. Остапенков похлопал себя по карманам, нашел сигареты, прикурил от лампы, затянулся и попробовал выпустить кольцо. Со второго раза получилось.

– Чарли Чаплин, – сказал он, – завещал миллион тому, кто сделает двенадцать колец и прошьет их струей, которая тоже должна превратиться в кольцо. Он был заядлый курец.

– Обалдеть, – сказал Удмурт. – Двенадцать.

– А что, если потренироваться? – Санько взял сигарету, прикурил и принялся пускать дым густыми порциями. У него ни одного кольца не получилось.

– Как раз миллион истратишь на курево, пока насобачишься, – усмехнулся Остапенков.

– Но, миллион, – ласково проговорил Удмурт из Пномпеня.

– Да, миллион, – повторил Остапенков и, выдержав паузу, быстро взглянул на солдата в проходе и спросил изменившимся голосом:

– Так будем мы говорить, Дуля?

Солдат в проходе – его фамилию Стодоля переименовали в Дулю – смотрел на лампу и молчал. Это был послушный молодой солдат, с первых дней службы в полку ему, как и другим новичкам, вбили кулаками простую истину: если ты плюнешь на общество, оно утратится, а вот если общество плюнет на тебя, – утонешь.

Общество делилось на три касты: «чижей», «черпаков» и «дедов», у первых за плечами было полгода службы, у вторых – год, у третьих – полтора. Ни в какую касту не входили «сыны» и «дембеля», – первые были внизу, под пятой общества, а вторые где-то сбоку, на обочине. По старой привычке «дембеля» могли потребовать среди ночи сигарету с фильтром или кружку воды в постель, но не злоупотребляли этим и вообще вели себя сдержанно и старались лишней раз не повышать голоса, – они доживали в казарме последние недели, и все прекрасно понимали, что хозяева в казарме «деды»; «дедам» оставалось служить еще полгода, «деды» могли вдруг разозлиться, припомнить былые обиды и, подняв все общество, отомстить горстке «дембелей» – такие случаи бывали в полку.

Общество жило по своим особым законам, неведомым кем и когда придуманным. В основе этих законов лежала диалектическая формула: все течет, все изменяется, и кто был никем, тот станет «дедом», это неизбежно, как крах империализма. И спорить с этим было трудно. Да никто и не спорил. Не разрешалось. И это был один из законов: молчи, пока не спрашивают. Спрашивать имели право представители высшей касты. И если они спрашивали, нужно было отвечать. Это был другой закон. И его сейчас нарушал остроносый глазастый солдат по кличке Дуля.

Он стоял в проходе, смотрел на лампу и молчал.

– У тебя есть еще, – Остапенков посмотрел на часы, до поверки оставалось сорок минут, – еще полчаса.

– Да что там! Все ясно, – сказал Санько. – Так-с, ходим под дурака?

Санько положил карту на табуретку. Иванов побил ее.

– У меня, – он помолчал, косясь на Дулю, – у меня имеются кое-какие факты, факты, – повторил он.

– Да? – спросил Остапенков.

– Да. – Иванов выбил ногтями по табуретке дробь. – Но после, после.

– Да. – Иванов выбил ногтями по табуретке дробь. – Но после, после.

– Не тяни, выкладывай, – нетерпеливо сказал Санько.

Иванов покачал головой.

– Послушаем, что он плести тут будет.

Толстый солдат, певший себе под нос, с грохотом сбросил ноги на дощатый пол, встал, накинул плащ-палатку и вышел. Через минуты две он вернулся. С плащ-палатки стекала вода. Он снял ее у входа и встряхнул. Прошел к своей койке, повесил плащ-палатку на спинку и принял прежнюю позу, только ноги в мокрых и выпачканных глиной сапогах драть выше головы не стал, оставил их на полу. Он полежал, помолчал и завел новую песню: «Отбегалось, отпрыгалось, отпелось, отлюбилось. Моя хмельная молодость туманом отklubилась...»

Солдат по кличке Дуля стоял перед игроками, безвольно опустив плечи и сгибая то одну, то другую ногу в коленях. Он глядел на лампу. Свет лампы казался ему жарким, и глазам было больно, но он не отрывал глаз от пламени за мутным стеклом. Глядя на пламя, легче было молчать.

Когда-то это было. Он не мог отделаться от этого чувства. Мерещилось, что когда-то это было.

– Воды, – сказал, не отрывая глаз от карт, Удмурт.

Дуля охотно пошел за водой, – на ужин была пересоленная перловая каша с мочалистой соленой свининой, и его мучила жажда. Железный бачок с питьевой водой стоял на табуретке у выхода, он отвернул кран, набрал воды, быстро осушил кружку и хотел еще выпить, но Удмурт крикнул: чего ты там телишься! – и, нацедив воды, он вернулся и протянул кружку Удмурту. Удмурт жадно выпил воду.

Дуля опять застыл в проходе. Желтый свет лампы снова потек в глаза.

«Зря она все-таки», – подумал он и тут же почувствовал стыд. Ему стало стыдно, что он так подумал, и стыдно потому, что он представил: она здесь, в этом длинном и темном жилище, она

стоит где-то рядом и, ничего не понимая, глядит на него...

– Осталось двадцать минут, – сказал Остапенков. Дуля поглядел на Остапенкова.

– Ну, что лупишься?

– Дать в лоб, сразу заговорит, – сказал Удмурт.

– Это успеется, – откликнулся Остапенков. Он хотел добавить, что дело тут непростое, но ничего не сказал, подумав, что это будет лестно для «сына» Дули. И так ему много чести оказано. С тех пор, как они прочли письмо, никто еще и пальцем не тронул Дулю, хотя он грубо нарушал один из законов общества – не отвечал на вопросы старших. Не будь здесь Остапенкова, они бы, конечно, давно отлупили Дулю. Но Остапенков не давал. Его это дело по-настоящему заинтересовало. Было во всем этом что-то значительное и жутковатое. Они много раз допрашивали и наказывали, они потрошили молодых солдат, что называется, до костей, узнавая все: как жили молодые в миру, кем работали, много ли девочек совратили, какой цвет глаз и рост у их сестер, родных и двоюродных, сколько литров было выпито на проводах в армию; у женатых вытягивали тайны первой брачной ночи. Уж, казалось бы, что может быть интимнее и жутче первой брачной ночи? А тут Остапенков почуял: может. И это удивляло его.

– Ну, Дуля, смотри, – сказал Остапенков, тасуя карты. В этот раз он проиграл.

– Может, пускай сядет? – спросил Иванов. – Устал, да? Хочешь сесть?

Дуля нерешительно кивнул. Иванов вздохнул:

– Ну, тогда еще постой.

Удмурт, Санько и солдаты, слышавшие шутку, рассмеялись. Остапенков не смеялся. Его начинало бесить упрямство «сына». Игра продолжалась.

Безумолчно выпевала свои огненные гимны печка. По палатке бил дождь. На дворе стояла зима, бесснежная, грязная, дождливая, с холодными туманами по утрам и ледяными полуденными ветрами.

Зимой служилось спокойно. Полк редко выходил на операции. В степях увязали даже танки, не говоря уж о колесной технике. Да и мятежники предпочитали зимой отдыхать, – высокогорные тропы

и перевалы заваливало снегом.

Зимой было почти мирно, так, иногда какой-нибудь неугомонный вождь бросит свой отряд на дорожный пост где-нибудь в зеленой зоне, – зимой зеленые зоны, обширные виноградные плантации были белы и непролазны. Или мина сработает под колесом машины, идущей из Кабула с мукой или консервами в полк. Но с летней войной это ни в какое сравнение не шло. Летом полк проводил операцию за операцией. Летом по всей стране, в ущельях, в заоблачных высях, в песках пустынь, в глиняных зелёных старинных городах, укромных кишлаках – всюду стреляли, всюду рвались мины и гранаты, сверкали по ночам трассирующие очереди, пылили колонны, грохотали батареи, рушились дома и вытаптывались хлебные поля. Летом было жарко, пахло полынью, на обочинах дорог свежо чернели сгоревшие машины и лежали облепленные мухами, вспухшие, смердящие ослы с белыми глазами. Летом было жарко.

Ну, а пока стояла зима. И солдаты занимались мирными делами, скучали, толстели, делались бледнее и румянее.

До поверки оставалось десять минут. Дуле надо было сказать «да» или «нет», но он молчал. Он боялся сознаться, понимая, что до последних дней службы ему не дадут спокойно жить. Что происходит с человеком, когда внимание всего общества сосредоточивается на нем одном, он хорошо знал, – в полку было несколько «вечных сынов»: один неудачно стрелялся, другой пил мочу желтушника, чтобы два-три месяца провести в госпитале, третий разрыдался на своей первой операции. Они были посмешищем. Уже не общество одного подразделения, а союз обществ уделял им свое внимание. Любой едва оперившийся «чиж» мог остановить «вечного сына» и обозвать его или дернуть за ухо, или дать пинка, или заставить мыть полы в казарме, или чистить сортиры. «Вечные сыны» были вечно грязны и вшивы, они привыкли к своему особому положению, и, наверное, оно им казалось естественным, – скорее всего так, если они жили.

Но и сказать «нет» язык не поворачивался.

Раз я молчу, значит, да, со страхом думал он.

И потом это письмо. Он не успел его уничтожить. Письмо отобрал Иванов, Ей приснился скверный сон, и она написала это письмо,

похожее на молитву, и в каждой строчке был Бог. «Деды» накинулись на Дулю с вопросами, но он молчал.

Иногда к нему приходила спасительная мысль: письмо написал не я, а моя девушка.

Чем дольше он молчал, тем труднее было молчать, и все страшнее что-либо сказать. И лучше было ни о чем и ни о ком не думать и ничего не вспоминать, но...

Пух реял в солнечном спертom воздухе над прохожими, газетными киосками, машинами; пух косо пролетал вдоль домов, касаясь пушистыми щеками каменных шершавых горячих стен, цепляясь за корявые края железных подоконников, и смело врывал во все открытые форточки. Он хотел закрыть окно, но она сказала: пускай, – и окно было растворено, и в него влетал пух.

Покуда она варила на кухне кофе, он бродил вдоль книжных полок, занимавших две стены в зале, это была библиотека ее отца, хлебозаводского пекаря; там было много старинных книг, потертых, тяжелых, угрюмых; он высмотрел книгу с черной розой на корешке и раскрыл ее, это был сборник китайских поэтов эпохи Тан. Его насмешили заглавия стихов: «Изображаю то, что вижу из своего шалаша, крытого травой», «Рано встаю», «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, когда я из столицы направлялся в Фынсянь», «Весенней ночью радуюсь дождю». Это было похоже на тополиные белые комья, доверчиво льнувшие к серым домам и влетающие во все раскрытые форточки, и было похоже на ребенка, бегущего от матери навстречу незнакомому прохожему, и на человека, который идет по людной улице и, думая о чем-то смешном, не может совладать с губами, глазами, щеками и улыбается. У поэтов были шуршащие, звенящие и шепчущие имена: Ян Цзюнь, Ханьшань, Ван Вэй, Лю Чанцин, а одно было слабым ветром или дыханием спящего – Ду Фу.

Они читали вслух. Сначала читали попеременно, но у него плохо получалось.

Сычуаньским вином

Я развеял бы грустные думы –

Только нет ни гроша,

А займы мне никто не дает, –

читал он, и это выходило как-то плоско и обыденно, как если бы подросток жаловался товарищу на родителей, которые отказываются купить ему джинсы или магнитофон. Он это почувствовал и больше не читал. Читала она. И стихи были тем, чем они были: вздохами, слезами, весенними дождями, жалобами, травами, птицами, горами, башнями, деревьями, водопадами и снежинками величиной с цинковку. Потом она начала читать стихотворение Ду Фу «Прощанье новобрачной»:

У повилики усики весною

Совсем слабы.

Так вышло и со мною:

Когда в деревне женится солдат,

То радоваться рано... –

и вдруг замолчала. Она опустила голову и закрылась книгой. Книга в ее руках вздрагивала. Он поцеловал побелевшие пальцы, влипшие в обложку, и она разрыдалась.

Это был еще только июль, впереди было два с половиной месяца, он надеялся поступить в институт и всерьез не думал об армии и тем более о войне, но она плакала и бубнила, что все плохо и плохо. Но почему же? – спрашивал он, а она отвечала: я не знаю, не приставай ко мне, уходи, не мешай мне заниматься.

Был только июль, начало июля, он просиживал дни над учебниками, готовился к вступительным экзаменам и ясно видел будущее: пять лет они проведут в институтских аудиториях и библиотеках, потом поедут учительствовать в какую-то далекую деревню за еловыми лесами и сизыми холмами; у них будет свой дом и свой сад, весною сад будет бел, осенью они станут собирать по утрам яблоки в корзины – вот и все. Правда, ей не хотелось в деревню. Но он был непоколебим. Еще в девятом классе он прочел «Житие протоппа Аввакума» и с тех пор был снедаем желанием как-нибудь положить жизнь на алтарь. Как положить свою жизнь на этот самый алтарь, он не знал, и мучился от мысли, что не найдет алтарь и впустую и скучно проживет. А в сердце тлели проповеди строптивца: «Опечалившись, сию, рассуждаю: что делать? Проповедовать ли

слово божие или скрыться где-нибудь? Потому что жена и дети связали меня.

И, видя меня печальным, протопопица моя приступила ко мне с осторожностью и сказала мне: что ты, господин мой, опечалился? Я же ей подробно сообщил: жена, что делать? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? Связали вы меня!

Она же говорит: господи помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я – ты же читал апостольскую речь: если ты связан с женою, не ищи разрешения; когда отрешись, тогда не ищи жены! Я тебя вместе с детьми благословляю: дерзай...»

И только под конец школьной жизни он отыскал этот алтарь, читая о народниках, уходивших учительствовать в деревню.

Они еще готовились к экзаменам, но спорили так, будто завтра-послезавтра получают дипломы. Она предлагала компромисс: три года, как того требуют правила, отработать в деревенской школе и вернуться. Но несгибаемый Петрович нашептывал ему другое, и он доказывал, что ехать нужно навсегда, до гробовой доски, и жить в глуши, и просвещать все такой же темный, несмотря на электрификацию плюс телевизор, народ. И к тому же, думая о будущей жизни в деревне, он влюбился в белый сад и в деревянный дом с широкими окнами и большой, основательной, как средневековый замок, печью.

В окно, медленно переворачиваясь, врывались белые комья, и впереди было пять лет учебы в институте и долгая жизнь в доме, вокруг которого белеет сад, а она закрывалась книгой и плакала.

В институт он не поступил.

Он вздрогнул, услышав резкий звук. Это Остапенков бросил карты на табуретку.

– Ты что, язык сожрал? – спросил он сквозь зубы.

– Да козе понятно, – сказал Санько, – ну. Чего он молчит? И чего баба в письме через слово божится, ну. Надо замполиту сказать и ротному.

– Нет, сами разберемся, – отрезал Остапенков. – Не отмолчится. Уж как-нибудь развяжем язык. Или я не я.

– Не, но козе ж понятно, – возразил Санько.

– Мы не козы, – ответил Остапенков и заиграл желваками.

– Ну вот что, – тихо и решительно проговорил татарин Иванов. Он поднял свои круглые ясные глаза и уставился на Дулю. – У нас в леспромхозе, – не торопясь, заговорил он, – был один баптист. Или там адвентист седьмого дня.

Удмурт засмеялся.

– Короче, святоша, – продолжал Иванов. – Я знаю эту породу. Изучил. Ты ему, например, по пьяни скажешь чего прямо в глаза, а он, как девочка перед первым абортom...

– Значит, уже не девочка, – заметил Удмурт.

– Как перед первым абортom: побледнеет и задрожит. Ответит: зачем вы это говорите, зачем вы так.

– А ты ему в рог, – сказал Удмурт.

– Да-а, мараться. – Иванов брезгливо повел плечами.

– Ты говорил – факты, какие? – нетерпеливо спросил Остапенков.

– Будут факты. Алеха! – крикнул Иванов. – Ко мне!

С табуретки сорвался один из тореодоров, круглый, низкорослый, смуглый парнишка. Он прибежал, остановился, шмыгнул вздернутым носом, оглядел текучими глазами лица «дедов» и бойко сказал: «Я!»

– Смотрите на них, – предложил Иванов. Все поглядели на двух «сынов».

– Ну, Алеха, как оно? Как житуха? – спросил Иванов.

Алеха взглянул на него вопросительно и, что-то такое прочитав в его глазах, ответил довольно развязным тоном:

– Нас е..., а мы мужаем!

– Хах-ха-хах!

– Пфх-ха-ха-ха!

– Ну, Алеха, иди, – с доброй улыбкой сказал Иванов. – Видели? – спросил он у товарищей.

– Ну, видели, и что? – спросил Санько.

Иванов посмотрел на него с отеческой укоризной.

– Я давно замечал, я с первого дня это заметил, что этот Дуля, эта Дуля не такая, не такой, как все. Все сыны как сыны, а... Ну, вот вам первый факт, – веско сказал он. – Кто слышал, как Дуля матерится? Кто, – он повысил голос, – помнит, чтобы Дуля ругался?

В палатке все притихли. К месту судилища потянулись

любопытные. «Деды» подходили и усаживались, ухмыляясь, на кровати и табуретки. Приближались и «черпаки»; «сыны» и «чижи» слушали издали, вытягивая шеи и пугливо косясь друг на друга. – Вот так, – сказал Иванов. – Это первое. Второе. Когда кого-нибудь били, ну, уму учили, у него глаза были, как у девочки перед первым абортom...

Дверь в палатку приоткрылась, и показалась голова дневального. – Ротный! – округляя глаза, крикнула сипло голова и исчезла. Тореодоры подхватились с табуреток и заметались по палатке, разгоняя портянками табачный дым. «Черпаки» и «деды» – по законам общества им можно было сидеть и лежать в одежде на койках – вставали, оправляли постели и рассасывались по углам. – Давай сюда портянки! – истошным шепотом крикнул Удмурт, и «сыны» побежали отдавать почти сухие, теплые портянки.

В палатке все притихли. К месту судилища потянулись любопытные. «Деды» подходили и усаживались, ухмыляясь, на кровати и табуретки. Приближались и «черпаки»; «сыны» и «чижи» слушали издали, вытягивая шеи и пугливо косясь друг на друга. – Вот так, – сказал Иванов. – Это первое. Второе. Когда кого-нибудь били, ну, уму учили, у него глаза были, как у девочки перед первым абортom...

Дверь в палатку приоткрылась, и показалась голова дневального. – Ротный! – округляя глаза, крикнула сипло голова и исчезла. Тореодоры подхватились с табуреток и заметались по палатке, разгоняя портянками табачный дым. «Черпаки» и «деды» – по законам общества им можно было сидеть и лежать в одежде на койках – вставали, оправляли постели и рассасывались по углам. – Давай сюда портянки! – истошным шепотом крикнул Удмурт, и «сыны» побежали отдавать почти сухие, теплые портянки.

Дверь отворилась, и, нагнувшись на входе, чтобы не удариться головой о притолоку, в палатку шагнул старший лейтенант.

– Р-рота-а! – закричал диким голосом дежурный сержант. – Смирррр...

– Отставить, – сказал старший лейтенант, выпрямляясь и проходя на середину.

Он был высок, строен, широкоплеч, у него были насмешливые темные глаза, маленькие твердые губы, раздвоенный подбородок,

небольшие густые усы и шрам от левого уха до кадыка.

Он огляделся, обернулся к шумящей печке и покачал головой.

– Приглушить, – обронил он, и «черпак» закрутил вентиль на бачке с соляжкой.

– Сказано ведь было, – проговорил ротный.

Неделю назад до сведения полка было доведено случившееся в части под Кандагаром, там сгорел в палатке взвод, – дневальные и дежурный уснули, кипящая соляжка вытекла из печки и поплыла по дощатым полам.

Продолжая смотреть на алый бок печки, старший лейтенант спросил солдата, стоявшего у него за спиной:

– Воронцов, что у тебя в руках?

– Ничего, товарищ старший лейтенант, – ответил честным голосом Воронцов. Это был Алеха.

– Уже ничего. – Ротный вздохнул. – А что было?

– Ничего.

– Остапенков, иди сюда, – позвал скучным голосом ротный.

Остапенков вышел на середину. Ротный повернулся к нему.

– Ну скажи: товарищ старший лейтенант, рядовой Оста-а-пенков по вашему приказанию прибыл. Мы ведь не в колхозе, что ты?

– Товарищ старший лейтенант, – начал докладывать Остапенков, застенчиво улыбаясь.

– Что тебе передал Воронцов? – перебил его ротный.

– Ничего. Мне – ничего.

– А кому? Удмурт, тебе?

– Никак нет! – рявкнул Удмурт.

– Воронцов, – сказал ротный. – Вот, допустим, иду я по улице твоей деревни. И встречаю, значит, тебя, Воронцова. Ты с девочкой, при галстукке...

– Я, – лыбясь, сказал Воронцов, – селедку не ношу, запаadlo.

– Не вякай, если не спрашивают, – громко прошептал Иванов.

Ротный продолжил:

– И вот встречаю, значит, тебя. С девочкой. Без селедки. В джинсовом костюме. Ты ведь уже копишь чеки на джинсовый костюм? Или не копишь?

– Не коплю.

– А что так? Все копят. Куда же ты их деваешь? Отбирают, мм?

– Нет. Я все на хмырь трачу, – поспешно пробормотал Воронцов.

– «Хмырь», «западло», – поморщился старший лейтенант.

– Ну, на печенье, на конфеты там...

– Не нукай, не на конюшне, – опять послышался шепот Иванова.

– Ладно. Встречаю я тебя, разубаюсь, снимаю драные свои носки, которые не стирал год, протягиваю тебе и говорю: быстренько выстирай и высуши, а то я тебя вы... – он сругнулся, – и высушу. Все засмеялись.

– Что бы ты мне ответил? Дал бы раз промеж глаз, и весь сказ. Так?

– Куда ему против вас, – сказал кто-то из «дедов».

– Ну, дружков бы свистнул или кувалду какую-нибудь схватил бы. Так?

– Нет, – преданно глядя на ротного, ответил Воронцов. Ротный улыбнулся.

– Ну не я, кто-то другой. Какая разница. Вон Стодоля, например. Вот что бы ты ему ответил?

Воронцов посмотрел на Стодолю.

– Ему? Ха-ха.

– Вот именно. Так какого же ... ты здесь не посылаешь всех этих на ... ? Говори, кому портянки сушил, – строго сказал ротный. – Или пойдешь на губу.

– За что? – растерялся Воронцов.

– За все хорошее. И почему в палатке воняет дымом? Ты, что ли, накурил, Стодоля?

Все опять рассмеялись. Стодоля был единственным некурящим в роте.

– Ты, да?

Стодоля покачал головой.

– Не ты. Кто же? Ну, отвечай.

Стодоля молча глядел на него.

– Почему молчишь?

Все настороженно затихли.

– Я не знаю, не видел, – чугунным голосом ответил наконец Стодоля.

– Конечно, откуда тебе знать. У тебя голова занята чем угодно, только не службой, текущую действительность, так сказать, ты

не замечаешь, спишь на ходу. Что мне, беседовать с вами в закутках? Чтоб никто не видел и не слышал, да? Или, может, вы мне анонимки начнете присылать? Заведем такую моду? Никто ничего не знает, никто ничего не слышит, их кантуют, они молчат, им квасят носы и фонари ставят, они: упал, шел, поскользнулся, очнулся – фонарь. Ну, когда-нибудь я вас всех распотрошу! Не улыбайся, Остапенков, ты первым пойдешь в дисбат! – Ротный замолчал и взглянул на часы. – Полковая поверка отменяется, – сказал он.

Солдаты радостно загудели.

– Дождь. А на носу Новый год. Так... Ну, все вроде на месте? Дежурит сегодня кто? Топады. Топады, кто у тебя дневальные?

Сержант Топады назвал три фамилии.

– Опять все молодые. Так не пойдет. Переиграем. Удмурт будет дневалить, Иванов и Жаров. Вопросы? – Ротный снова посмотрел на часы и направился к выходу. – Через полчаса отбой, приду проверю, засеку кого в вертикальном положении – пеняй на себя. Службу, дневальные, не запорите. Все.

– Я не буду дневалить, – сказал Жаров. Это был толстый солдат, весь вечер певший себе под нос песни. Он был «дембель», последний из могикан, – все его товарищи еще месяц назад уехали в Союз, домой, а его задержали из-за драки с прапорщиком. Этот прапорщик имел обыкновение сидеть в офицерском туалете по вечерам и следить в дверную щель за мелькавшей над занавесками в освещенном окне кудрявой головой. У Вали, машинистки из штаба, в полку был богатый выбор, и прапорщику, нехорошему лицом, худосочному и потасканному, как говорится, не светило. И по вечерам он сидел в туалете напротив ее окна. В тот злополучный вечер прапорщик перевозбудился, увидев между занавесками белую грудь и кусок живота. Посреди ночи он проснулся, он ворочался, ворочался, но так и не смог заснуть, – все эта грудь с коричневой вершинкой и белый кус живота мерещились; прапорщик встал, оделся и пошел, сам не зная, зачем, под окно Валечки. Окно оказалось приоткрытым, он отворил створки, полез в комнату и увидел белеющие в темноте задыхающиеся тела, тут же одно тело

подскочило, и прапорщик слетел с подоконника, заливая мундир кровью из носа. Прапорщик молча поднялся и опять полез в окно и вывалился вместе с полуодетым солдатом. Они катались по земле, хрипя и колотя друг друга. Валечка закрыла окно и смотрела на них, кусая губы и злобно охая. Командир танкового батальона, вышедший по нужде, увидел их и, решив, что в полк проникли враги, вбежал в офицерское общежитие и крикнул: «Тревога!» На допросе, который вел сам начальник штаба, прапорщик врал, что увидел, как кто-то пытается открыть окно, и схватил взломщика, а тот начал драться, а Валечка твердила, что ничего не знает, солдата видит впервые, прапорщика тоже, — она спала, а потом услышала шум, крики, стрельбу. Жаров нес дичь, спасая Валечкину репутацию, которая была давно и до последней нитки промочена. В конце концов начштаба запутался в этой истории, прекратил дознание, отчитал Валечку и прапорщика, а сержанта Жарова разжаловал, упек на десять суток и пообещал, что Новый год тот встретит в полку, а не дома.

— Не козлись, Жаров, — мягко сказал ротный. — Ты же знаешь, я давно отпустил бы тебя, но... По мне — лежи ты лежмя сутками. Но командование интересуется, служишь ты или груши околачиваешь. Не могу же я врать, посуди сам.

— Не буду я дневалить, — равнодушно повторил бывший сержант. Он снял ремень. — Пишите записку начкару.

— На губе сейчас холодно.

— Пишите, — угрюмо сказал Жаров.

— Ты мне надоедать начинаешь.

— Пишите.

— Напишу, а что ты думаешь.

— Пишите.

Старший лейтенант крякнул:

— Ладно, еще успеешь насидеться на губе. — Вздохнул: — Возьму грех на душу. Кто там? Амиджонов, будешь третьим дневальным. И не трепитесь! — громко сказал он всем.

Солдаты откликнулись восхищенным гулом. Старший лейтенант вышел под дождь, зная, что они любят его еще больше.

Картежники вернулись в свой отсек, зачиркали спичками, прикуривая. Жаров разделся и лег, укывшись байковым одеялом,

хотя до отбоя оставалось полчаса. Алеха Воронцов наполнил три зеленых обшарпанных котелка водою и поставил их на печку. Примолкшая печка опять расшумелась, – вентиль был лихо повернут против часовой стрелки.

Иванов и Удмурт были злы, дневалить им совсем не хотелось. Остапенков подошел к Алехе Воронцову, сидевшему возле печки с целлофановым мешком трофейного чая.

Почувяв недоброе, Алеха с виноватой гримасой на лице встал. Он готовился выполнить приказ: «Душу к бою!» Этот странный приказ никому никогда не казался странным, услышав его, нужно было просто выпятить грудь и получить удар кулаком по второй пуговице сверху, – в бане сразу были видны непонятливые и нерасторопные «сыны» и «чижи», посреди груди у них синели и чернели «ордена дураков» – синяки. Воронцов приготовился к удару в «душу», ведь он опростоволосился три раза: не успел вовремя передать портянки «дедам», вякал, когда не спрашивали, и нукал, как на конюшне.

Но Остапенков положил ладонь на плечо Воронцова и сказал:

– Садись. Чай покрепче чтоб.

– Есть!

Остапенков помолчал и вдруг спросил:

– Слушай, мог бы ты дать пощечину Дуле?

– Дуле?

– Ага.

– За что?

– Так. Если мы тебя очень попросим. Один эксперимент надо провести.

Воронцов растерянно заморгал и пробормотал:

– Не, но как? Надо за что-то...

– Найдем, за что.

– Да? Я не знаю... Если очень нужно...

– Очень. Мы потом тебя разбудим, – сказал Остапенков. – Забавай чай и ложись, а после мы тебя поднимем.

Остапенков прошел в свой отсек, где его ждали Иванов, Удмурт, Санько и еще несколько «дедов» и два «черпака», друживших с «дедами».

– А где этот? – спросил Остапенков.

– Нету. Видно, побежал вычерпывать из штанов, – сказал один «черпак».

– А кто ему разрешил? – спросил Остапенков. Он окликнул дежурного сержанта. Сержант сказал, что в туалет отпросились Бойко и Саракесян, а Дуля не отпрашивался. У Остапенкова вытянулось лицо. Это уже было ни на что не похоже, – все «сыны» и «чижи» обязаны были докладывать, куда и на какое время они отлучаются по личным делам. Как правило, по личным делам они уходили из палатки только в туалет. Правда, «чижам» позволялось еще навещать своих земляков в других подразделениях и библиотеку, «сынов» же не пускали ни к землякам, ни в библиотеку. Впрочем, в библиотеку пойти не возбранялось, но при одном условии – если «сын» знает наизусть устав караульной службы, – разумеется, никто и не пытался сдавать экзамены, чтобы получить право на посещение библиотеки.

– Да брось ты, – сказал Иванов, – на стукача он не похож. Я изучил эту породу, у них есть понятия.

– А что, запросто пойдет и заложит, – тихо проговорил Санько, вспоминая, бил ли он когда-нибудь Дулю или только обзывал.

– Пусть только попробует, – сказал Удмурт, почесывая мохнатую грудь.

– Он просто запомнил, что он «сын», – сказал Иванов.

Остапенков закурил. Он затягивался дымом и задумчиво вертел в пальцах обгорелую, скусившуюся спичку.

– А если заложит, ну? – спросил Санько.

– Да бросьте вы, мужики, – сказал второй «черпак».

– В туалете сидит, – сказал «дед». Помолчали.

– Скоро там отбой? – спросил Санько.

Остапенков хмуро посмотрел на него.

– Сначала с ним разберемся, – сказал он.

Прошло десять минут, двадцать, из туалета вернулись Бойко и Саракесян. Дулю они не видели.

– Мелюзга и «черпаки» пускай ложатся, а мы это дело доведем до конца. Отбивай, Топеды, – сказал Остапенков.

Дежурный сержант-молдаванин посмотрел на часы и гаркнул: «Отбой!»

Все начали укладываться: «чижи» торопливо, «черпаки» неспешно, а «сыны» молниеносно, – грохоча сапогами, лязгая пряжками и треща пружинами коек.

«Деды» и два «черпака» пили черный чай, потя и громко сопя. К чаю были галеты и сахар. Галеты отдавали плесенью. Зимой все отдавало плесенью: чай, макарены, супы, порошковая картошка и хлеб. Имевшие знакомства на продуктовом складе хлеб не ели, носили в столовую галеты. Хлеб выпекали в полку. Буханки были плотные, низкие, заскорузлые, кофейного цвета, пахнувшие хлоркой и очень кислые, – от этого хлеба весь полк мучился изжогой, доводившей до рвоты. Офицеры питались другим хлебом, пшеничным – высоким, мягким, светлым, – офицерским хлебом. Хорошей муки и сильных дрожжей мало присылали в полк. Война есть война.

– Нет, ему же это невыгодно, – сказал Иванов. – Его самого по головке не погладят: стукач да еще верующий.

– А мне брат рассказывал, – вспомнил первый «черпак». – У них на корабле – он на море служил – тоже выискался один. На берег служить проперли.

– И все?

– И все. Верующие служат, это баптисты вообще отказываются. Им легче в тюрьму, чем присягу с автоматом... козлы. Значит, этот не баптист, а просто.

– Не, ну а че мы ему такого сделали? – спросил Санько. – Я, к примеру, и пальцем его не тронул, ну. Кантовали понемногу, как всех. А что ж, пускай бы он барином, да? Все через это прошли. Они Хана не застали, счастливички. А мы что, на пятках у него бычки тушим? Или зубы выбиваем? Или вон – помните? – Цыгана Хан связал и заставил всех плевать ему в лицо.

– И доплевались. Цыган, наверное, лупит и сейчас по нашим колоннам, сука. Поймать бы, – сказал один из «дедов».

– Хан сейчас тоже лупит – парашу где-нибудь под Воркутой.

– Вот бы Цыгана поймать.

– Он, небось, в Чикаго виски глушит.

Санько встал и, громко зевнув, сказал:

– Ну, ладно.

– Куда? – остановил его Остапенков.

– Спать. Я нынче чтой-то плохо спал... – пробормотал Санько и сел на место.

– Пока до Воркуты в гости к Хану будешь чухать на поезде, и отоспишься, – смеясь, сказал Удмурт.

– Искать пойдем, – сказал Остапенков.

– А мне брат рассказывал, – вспомнил первый «черпак». – У них на корабле – он на море служил – тоже выискался один. На берег служить проперли.

– И все?

– И все. Верующие служат, это баптисты вообще отказываются. Им легче в тюрьму, чем присягу с автоматом... козлы. Значит, этот не баптист, а просто.

– Не, ну а че мы ему такого сделали? – спросил Санько. – Я, к примеру, и пальцем его не тронул, ну. Кантовали понемногу, как всех. А что ж, пускай бы он барином, да? Все через это прошли. Они Хана не застали, счастливички. А мы что, на пятках у него бычки тушим? Или зубы выбиваем? Или вон – помните? – Цыгана Хан связал и заставил всех плевать ему в лицо.

– И доплевались. Цыган, наверное, лупит и сейчас по нашим колоннам, сука. Поймать бы, – сказал один из «дедов».

– Хан сейчас тоже лупит – парашу где-нибудь под Воркутой.

– Вот бы Цыгана поймать.

– Он, небось, в Чикаго виски глушит.

Санько встал и, громко зевнув, сказал:

– Ну, ладно.

– Куда? – остановил его Остапенков.

– Спать. Я нынче чтой-то плохо спал... – пробормотал Санько и сел на место.

– Пока до Воркуты в гости к Хану будешь чухать на поезде, и отоспишься, – смеясь, сказал Удмурт.

– Искать пойдем, – сказал Остапенков.

– Такой дождь, – уныло сказал второй «черпак».

Остапенков обернулся к нему.

– Не понял, – проговорил он, – что вы тут делаете?

– Да мы... – «Черпак» смущенно улыбнулся.

– Пойдем, Серега, спать, – позвал его первый «черпак», и «черпаки» ушли, пришибленно улыбаясь.

– Я тоже думаю, что капать он не пойдет, – сказал Остапенков.

– Значит...

– Одно из двух: сидит у какого-нибудь земляка или ползет мимо КПП.

– Я этому гороховому шути роги поотшибаю, я ему... – Удмурт осекся. – Слыхали? – Послышался второй взрыв. Минуту спустя опять бухнуло. Солдаты вышли на улицу, в темноту и дождь.

– Первую батарею обстреливают, – сказал дневальный. – Минометы.

На краю полка в черноте пыхнули огни и раздались деревянные звуки – батарея открыла ответный огонь из гаубиц.

– Как бы тревоги не было, – пробормотал Санько.

Разорвались мины, и тут же им ответил хор гаубиц: бау! бау! б-бау-у! На краю полка покраснели трассирующие очереди, – пересекаясь, они уходили во тьму. Треск автоматов был едва различим в неумолчном хлюпанье и стуке дождя по крыше «грибка». Мины стали рваться чаще. Заработали пулеметы и скорострельный гранатомет. Лил дождь, гаубицы кричали: бау! бау! – и ночь с мясистым треском разрывалась, брызжа во все стороны огнем.

«Деды» вернулись в палатку. Они стояли возле печки, курили и молчали. Возможность тревоги тяготила, воевать ночью под зимним дождем не хотелось, хотелось залезть под одеяло и, послав все к черту, погрузиться в домашние сны.

– Вот же! А? – сказал тонким чужим голосом Санько.

– Что? – резко спросил Остапенков.

– Что, что! Да хрен с ним, пускай он хоть икону на пузе таскает!

– Да? – Остапенков прищурился. – А если мне завтра с ним в бой? В атаку, мм?

– Вот именно, – поддакнул Иванов.

– Он же убежит, – продолжал Остапенков, – бросит автомат и смоемся, тебе будут шомполом глаза прокалывать, а он будет соплю пускать и уносить ноги, а? Этих баптистов и адвентистов... на полюс всех, чтоб не воняло здесь ладаном! К ... матери! К... матери!

– Я эту породу изучил. А к этому одуванчику давно

присматриваюсь, – сказал Иванов. – Как он на того пленного смотрел...

– Он чистеньким хочет!.. Но ни хрена! – Остапенков потряс кулаком. – Ни хрена. Лучше пускай сразу вешается. Или он станет настоящим разведчиком, или пусть убирается, в разведроту ангелочкам не место.

– Остап, – вдруг послышался насмешливый голос сбоку, – а Остап.

Остапенков вздрогнул и обернулся. Сквозь прутья спинки койки на него глядел бывший сержант Жаров. Он лежал под одеялом, заложив руки за голову.

– Не бойся, это я, – сказал Жаров.

– Я боюсь? Тебя, что ли? – Остапенков расслабил усилием воли мышцы лица, но улыбка вышла судорожной – дернулись щеки, дрогнули губы, шевельнулись брови, и опять лицо затвердело.

– Ну, теперь ты меня не боишься, – сказал мирно Жаров.

– Я тебя никогда не боялся.

– Это тебе так кажется сейчас. Блазнится. Мне тоже иногда блазнится, что я Хана не боялся. А боялся, хоть был одного призыва с ним. – Жаров взял с тумбочки пачку, вытащил сигарету и закурил. – Я тут смотрел, как вы потрошите этого сына, и... Сказать тебе, Остап, одну вещь?

– Ну.

– Жалеть будешь. Потом.

– Я-а? Ха-ха-ха.

Скрипнула дверь, все обернулись и увидели в проходе человека с почерневшим лицом. Он стоял в дверном проеме, с него густо капало, и за его спиной шелестела, хлупала и взрывалась ночь. Дневальный пихнул его в спину и затворил снаружи дверь. Стодоля молчал. Все смотрели на его сырой, обвисший бушлат, старую, давно отслужившую свой срок шапку с подпаленными ушами, на разбитые огромные грязные кирзовые сапоги, на его синие губы, мокрый острый нос и ямы глаз.

– Ты вон к печке иди, – сказал Удмурт.

Остапенков бросил взгляд на Удмурта и снова вперился в Стодолю.

– А-а, – хрипло сказал Остапенков, – явление...

Стодоля молчал.

– Где был? – спросил Остапенков.

Стодоля поднял на него глаза, пошевелил губами.

– Что-о? Не слышу!

– Я верую, – повторил Стодоля.

Олег ЕРМАКОВ. Некаýalar